

Насилие и травма как «слабые» концепты (в перспективе глоссематики)

ИННОКЕНТИЙ А. МАРТЫНОВ

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Российская Федерация
<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669/>

Рекомендация для цитирования:
Мартынов И. А. (2025) Насилие и травма как «слабые» концепты (в перспективе глоссематики). *Социология власти*, 37 (3): 126–154
EDN: OJWLGN

For citation:
Martynov I. A. (2025) Violence and Trauma as “Weak” Concepts (in the Perspective of Glossematics). *Sociology of Power*, 37 (3): 126–154

Поступила в редакцию: 28.05.2025;
прошла рецензирование: 04.07.2025;
принята в печать: 11.07.2025
Received: 28.05.2025; Revised:
04.07.2025; Accepted: 11.07.2025



© Author, 2025
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Резюме: В статье исследуется переплетение «насилия» и «травмы» в качестве так называемых «слабых» концептов. Не всегда ясно, чем акты, которые определяются как «насильственные», похожи друг на друга и отличаются от других схожих форм поведения. Насилие тесно связано с другим «сложным» концептом — травмой. Он образован метафорическим образом и происходит из связи исходного медицинского понятия травмы с некоторой формой насилия как прикладываемой к телу силы, имеющей деструктивные эффекты. Схожим образом с тем, как это устроено для «насилия», границы концепта «травмы» определяются слабо: чем она похожа и отличается от события, запускающего невротический симптом или способствующего декомпенсации психотического больного, и почему только травма получила отдельное концептное оформление? Опираясь на глоссематику Луи Ельмслева, автор показывает, что на самом деле оба рассматриваемых концепта функционируют как рекурсивные семиотические системы, в которых наслоение уровней рекурсии и ослабление межэлементных связей ведет к снижению аналитической точности и росту системной энтропии. Обращаясь к классической психоаналитической психопатологии и современным эмпирическим данным, статья ре-артикулирует концепт травмы. Его ядро заключается в ослаблении функций «Я», в особенности функции темпорализации, а не в эффекте некоторой формы насилия. В тексте демонстрируется, что снижение рекурсивных переплетений — в первую очередь разрыв метафорической связки с насилием — позволяет превратить травму в более «сильный» и ин-

струментализируемый концепт. Таким образом, этот текст преследует двойную демонстрационную задачу. Во-первых, глоссематически иллюстрировать, на примере «насилия» и «травмы», как устроены «слабые» и «сильные» концепты. Во-вторых, показать, как глоссематика может использоваться не только как аналитический, но и как креативный инструмент для производства инструментализируемых концептов.

Ключевые слова: травма, насилие, рекурсивные семиотики, глоссематика, шенноновская энтропия, психоанализ

Violence and Trauma as “Weak” Concepts (in the Perspective of Glossematics)

Innokentiy A. Martynov

Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669/>

Abstract: This paper interrogates the conceptual entanglement of ‘violence’ and ‘trauma’ as so-called weak concepts. Rarely is it evident what acts designated as ‘violent’ have in common, nor how they differ in a principled way from related behaviors. Violence is intimately linked to another ‘problematic’ concept: trauma. The latter is constructed metaphorically, historically deriving from a medical notion of trauma as an injury — the application of force upon the body with destructive effects — and thus remains tethered to an idea of violence through figurative association. In a manner akin to violence, the boundaries of the concept of trauma are themselves elusive: it is frequently unclear what differentiates trauma from other events that might trigger a neurotic symptom or provoke decompensation in a psychotic patient, and why only trauma has been granted a distinct conceptual identity. Drawing on Hjelmslev’s glossematics, it is argued that both ‘trauma’ and ‘violence’ function as recursive semiotic systems in which compounding layers of recursion and weakened inter-element connections diminish analytic precision and raise systemic entropy. Through a return to classical psychoanalytic psychopathology and a critical analysis of recent empirical data, the study re-articulates trauma: its core lies not in the effects of some form of violence, but in the weakening of ego functions — most notably, temporalization. The article demonstrates that by reducing these recursive entanglements — particularly the metaphorical conflation with violence — trauma may be rendered a stronger, more operationally robust concept. Accordingly, the text serves a dual demonstrative purpose: first, it offers a glossematic illustration — using ‘violence’ and ‘trauma’ as paradigmatic examples — of how weak and strong concepts are structured; and second, it shows how glossematics may be employed not only as an analytic resource but also as a creative instrument for the production of concepts capable of operationalization in research and practice.

Keywords: trauma, violence, recursive semiotics, glossematics, Shannon’s entropy, psychoanalysis

Введение

Сегодня концепт насилия успешно присвоили себе очень разные дисциплины — социология, психология, философия, юриспруденция и даже медицина¹. Закономерно, что он остается без какого-то более-менее консенсусного определения. Часто его определяют через его эффекты. Речь идет не только о простом физическом или эмоциональном вреде, но и о различных скрытых, структурных, символических и даже эпистемологических механизмах². Не всегда ясно, чем акты, характеризованные как «насильственные», похожи друг на друга и чем отличаются от других схожих форм поведения, связанных с деструктивностью или доминированием. Эта проблема по-разному решается в разных дисциплинах, и можно сказать, что границы между разными формами деструктивного поведения размыты (Hamby 2017). В этом контексте я предлагаю посмотреть на насилие как на скорее инструментальный, контекстуальный концепт, чем конкретный феномен.

Сегодня в социальных науках насилие тесно связано с другим «сложным» концептом — травмой. В отличие от насилия, «травма» — это понятие, образованное метафорическим образом. Этот процесс можно представить в виде нескольких последовательных преобразований. Я предполагаю, что исходной точкой здесь является медицинское понятие травмы как «совокупности местных повреждений тканей и органов, вызванных внешней силой» (Большой энциклопедический словарь), или самого действия по причинению таких повреждений (Larousse). Метафорическое представление о психике человека как особенном «органе» (подробнее см.: Sayed, Jacob 2024) позволило осуществить перенос концепта травмы. Таким образом, набор характерных поведенческих симптомов у людей, переживших некоторый интенсивный негативный опыт³, также

1 Всемирная организация здравоохранения признает насилие одной из проблем общественного здоровья и определяет насилие как «намеренное использование — реальное или угрожаемое — физической силы или власти против самого себя, другого лица, группы лиц или какого-то сообщества, причиняющее либо с большой вероятностью способное причинить увечья, психологические травмы, привести к смерти, вызвать трудности в развитии или лишения» (ВОЗ 2002, с. 3).

2 См. обзор различных попыток такого концептуального расширения в (Hassanally 2018; Koot et al. 2025).

3 Ср., например, такое определение: «Психическая травма, совокупность психических или психосоматических расстройств, случайно вызванных воздействием внешнего фактора на субъекта» (Larousse).

концептуализировали как травму¹. Такая концептуализация позволила врачам из первого поколения психоаналитиков существенно продвинуться в понимании психопатологии этого состояния после Первой мировой войны, а позже, на этой основе, существенно его расширить после Второй мировой.

Как бы ни был этот метафорический перенос полезен, я предполагаю, что в понятии травмы существует слабое место. Вероятно, оно происходит из связи исходного медицинского понятия травмы с некоторой формой насилия как прикладываемой к телу силы, имеющей деструктивные эффекты. Как обычно происходит травмирование? Представим два модельных случая в контексте принципов биомеханики мягких тканей (Smit, Strong 2020). Качество приложения силы может оставаться одним и тем же — например, оказанием давления на участок тканей. В одном случае произойдет повреждение тканей, во втором нет. Это будет определять количество приложенной к воздействию силы. В нормальных условиях при приложении к той или иной части организма силы, превосходящей определенное количество, травмирование происходит в каждом случае. В случае с психологической «травмой» все обстоит немного иначе. Интенсивный негативный опыт в одном случае может привести к развитию характерных поведенческих симптомов. В другом случае аналогичное внешнее воздействие на психику индивида не вызовет никаких патологических проявлений.

129

Все усложняется еще сильнее, если мы зададимся следующим вопросом: почему возникает необходимость в таком концепте, как «травма», учитывая, что многие другие интенсивные события и переживания, оказывающие существенный эффект на индивида, не получают отдельной концептуализации? Почему возникает необходимость говорить о «травме», но, например, событие, запускающее невротический симптом или способствующее декомпенсации психотического больного, не получило отдельного концептного оформления? Я предполагаю, что «травма», как и «насилие», — это не феномен, а концепт, который при более пристальном рассмотрении оказывается достаточно «слабым», то есть системой, в которой отношения внутренних семиотических элементов «ослабевают» из-за наслоений рекурсивности.

Будет непрагматично сказать, будто «нет никакой травмы». Трудно в угоду философской последовательности отрицать существова-

1 Такой «метафорический перенос» из хирургии в поведенческую медицину был впервые предложен немецким неврологом Германом Оппенгеймом в 1889 году и впервые формализован в том виде, в котором он принят в современной западной психиатрии, Зигмундом Фрейдом в 1895 году (Efstratiou 2010).

ние все более настойчиво вторгающегося в обыденную жизнь психопатологического феномена. Даже если, строго говоря, мы не можем признать существование «травмы» как травмы и все, что нам остается, — это констатировать ее бытийствование как контекстуального концепта (если не сказать, дискурсивного симулякра¹), одно это никак не поможет нам достичь выполнения реальных задач. В этом тексте я предлагаю подойти к проблеме «слабого» концепта с точки зрения некоторых идей современного американского прагматизма. Под этим я подразумеваю такой подход, в рамках которого концепт осмысливается как прагматический инструмент. Прагматизм отвергает спекулятивные теории познания в пользу подхода, где знание оценивается по его полезности и способности влиять на реальность через созидание, экспериментирование и применение. Это не пассивное наблюдение, а активный конструктивный процесс, где теории выступают инструментами для решения задач (подробнее см.: Woodward 2023)².

В этом тексте на примере «насилия» и «травмы» я попробую представить, во-первых, понятие «слабого» концепта как рекурсивной семиотики и, во-вторых, «сильного» концепта как операционального допущения с точки зрения семиологии Луи Ельмслева (глоссе-

130

1 То, что я здесь описываю, иллюстрирует одну из ключевых проблем семиологии — проблему связи знака и референта. Жан Бодрийяр предполагает, что такого рода знаки, утратившие связь с референтом, выявляют напряжение онтологического различия между реальным и его репрезентациями. Он выстраивает новую метафизическую систему, где посредством ряда операций знак все сильнее отдаляется от актуальной реальности. В конце концов, он становится не связан ни с какой реальностью, а вместо этого создает свою собственную гиперреальность. Такая рамка в случае анализируемого мной концепта травмы мне кажется нерелевантной по следующей причине. Бодрийяр натурализует дефект знака: да, у него нет актуального референта, но это вовсе и не плохо, это часть естественного механизма симуляции. Для этого ему необходимо было не просто вынести референт за скобки, но полностью изъять его из семиологии. Здесь кроется изъян, который затрудняет анализ такого рода знаков. Несмотря на то что референт якобы изымается из семиологии, он продолжает присутствовать негативным образом: через отрицание референта модель так или иначе вынуждена постоянно к нему возвращаться (см.: Genosko 1994).

2 Я предлагаю сфокусироваться на следующих ключевых принципах такого подхода. Во-первых, это континуум целей и средств (ends-means continuum), подчеркивающий, что методы и концепты должны быть адекватны поставленным задачам и подлежать постоянной корректировке. Во-вторых, это инструментализация, где валидность концепта определяется его возможностью способствовать прагматическим целям (например, прогнозированию, объяснению или творческому синтезу), а не абстрактной истиной (см.: Woodward 2023).

матики). Под «слабым» я, соответственно, буду понимать концепт, устроенный как рекурсивная семиотика (понятие Ельмслева), в которой ослаблены связи между элементами и, как следствие, повышена мера внутренней энтропии. Тем не менее прагматичным представляется допущение, что с такими концептами необходимо работать в направлении снижения этой энтропии: наиболее простой шаг здесь — минимизация наслоений рекурсивности (поскольку собственно нерекурсивность, вероятно, недостижима). В частности, в случае семиотики «травмы» таким шагом будет изъятие из нее аспектов иной рекурсивной семиотики — «насилия». Далее я предложу один из возможных способов осуществления подобного «усиления». Для этого я предлагаю вернуться к классической психопатологии «травматического» невроза и взглянуть в этом контексте на современные данные. При таком смещении фокуса ядро состояния, именуемого сегодня «травмой», предстает уже не как непосредственный эффект той или иной формы насилия, а как ослабление «Я» и его функций. На этом примере я продемонстрирую, как изъятие аспектов другой рекурсивной семиотики — «насилия» — и «усиление» связей между элементами внутри семиотики позволяет получить более «сильный», строгий описательный концепт. Пример «травмы» демонстрирует креативный потенциал прагматического подхода к глоссематике. Снижение энтропии в семиотике повышает инструментализируемость концепта для созидательных задач актуальной реальности.

131

Таким образом, данный текст преследует двойную демонстрационную задачу. Во-первых, глоссематически иллюстрировать на примере «насилия» и «травмы», как устроены «слабые» и «сильные» концепты. Во-вторых, показать, как глоссематика может использоваться не только как аналитический, но и как креативный инструмент для производства инструментализируемых концептов. Используя этот инструмент, я предлагаю уточнить концепт «травмы» и в заключение предлагаю наметить возможную область инструментализации уточненного концепта.

Глоссематическая модель Ельмслева

Я предполагаю, что более адекватной объекту моего размышления будет семиологическая модель, сильно контрастирующая с широко известной метафизической семиологией Бодрийяра. Это антиметафизическая модель глоссематики датского лингвиста Луи Ельмслева, известная гораздо меньше. Ельмслев предложил собственную семиологическую модель — глоссематику, — действуя в духе структурного проекта Фердинанда Соссюра. Он исходит из базовой материалистической (по определению самого Ельмслева) предпо-

сылки: референт не имманентен знаку, и поэтому его включение в глоссематический (семиологический) анализ невозможно (см.: Hjelmslev 1969, p. 47). Проблема референта для глоссематики — это нерелевантная проблема метафизики, не относящаяся к собственно семиологии. Поскольку проблема отношения с референтом для глоссематики не стоит, для нее не существует никакой «иерархии» знаков — все они одинаково доступны для анализа без дополнительных аналитических допущений или надстроек (таких как концепции симуляции, необходимой для анализа знаков без актуального референта, вроде «травмы»). Глоссематическому анализу доступна любая семиотическая система.

Со строго глоссематической точки зрения консистентность семиотической системы (или, как называет это сам Ельмслев, семиотики) обеспечивается внутренними отношениями различения между ее элементами. Глоссематическая модель, вынося за скобки актуальную реальность, позволяет анализировать сложные многослойные структуры значения, которые другие семиологические модели игнорируют, упаковывая их в концепцию референции. Так, в глоссематике достаточно разработаны семиотические системы второго порядка, описывающие ситуации, в которых целая денотативная семиотика становится планом выражения для другой семиотики — как, например, в объектно-ориентированных языках программирования.

Глоссематика предлагает следующую модель семиотической системы (далее — семиотики). Любая семиотика представляет собой совокупность отношений детерминации разного типа между гетерогенными элементами. В качестве аналитического допущения мы можем провести в семиотике ряд структурных различий (артикуляций). Наиболее фундаментальное из них — это разделение на два плана: выражения и содержания, или первая артикуляция (рис. 1).

Это разделение — сугубо операциональное. На самом деле выражение и содержание определяются только в отношении взаимной солидарности (то есть один не может существовать без другого). Это не две отдельных сущности, но элементы функции-знака. Выражение и содержание не существуют до знака, позже в нем как бы соединяясь (как это работает в случае означающего и означаемого в соссюровской семиологии). Скорее, выражение и содержание одновременно устанавливаются самой функцией-знаком (Ibid., p. 58). Можно проиллюстрировать это по аналогии с листом бумаги: передняя (выражение) и задняя (содержание) сторона листа отличны друг от друга, но тем не менее нельзя разрезать одну, не разрезав другой. Они взаимно необходимы — или, как это называет Гваттари, являются взаимной предпосылкой друг друга (цит. по: Genosko 2002,

р. 159)¹. Планы выражения и содержания не симметричны и не изоморфны. Это значит, что структура плана выражения не повторяет структуру плана содержания. Анализ минимальных единиц выражения не предполагает соответствующий набор минимальных единиц содержания².

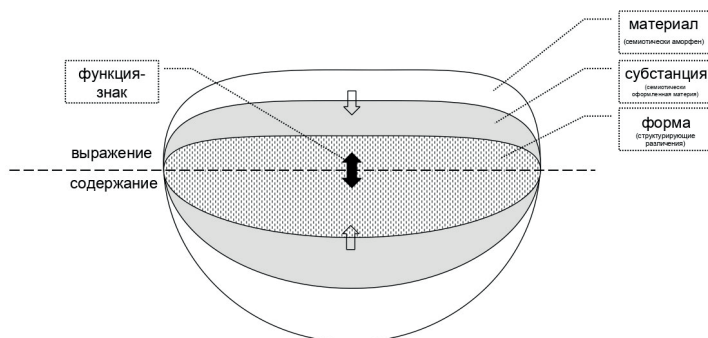


Рис. 1. Глоссематическая модель семиотики по Ельмслеву

Fig. 1. Glossematic model of a semiotic according to Hjelmslev

Самая базовая семиотика первого порядка — первоосновной знакосистемный уровень, где функция-знак связывает план выражения и план содержания как два взаимно предполагающих элемента, — в глоссематике Ельмслева называется денотативной семиотикой. Денотация, или означивание «первого порядка», — это чистая объектная семиотика, где функция-знак заключается во взаимной солидарности выражения и содержания, а не в механическом соединении слова и вещи. Денотативная семиотика имманентна и автономна: это система, замкнутая в себе, не обра-

- 1 В рамках каждого плана мы можем провести еще ряд условных разделений на три уровня: материал, форма и субстанция. В настоящем размышлении я концентрируюсь на аспектах первой артикуляции (выражение/содержание). Проблемы второй артикуляции (форма/субстанция) хоть и представляют значительный интерес, но их я затрону только эпизодически в конце этой статьи.
- 2 Например, одна из фигур выражения, русское слово «конек», может относиться к множеству отличных фигур содержания (биологический вид, инженерная конструкция, спортивный инвентарь и пр.). И, наоборот, одна фигура содержания «концепт автомобиля» может относиться сразу к множеству отличных фигур выражения («авто», «машина», «тачка»). Этот непараллелизм требует, чтобы выражение и содержание анализировались как две отдельные, но взаимозависимые иерархии в рамках семиотической системы.

щающаяся ни к чему внешнему по отношению к своей структуре. Ее значение определяется различием и внутренними отношениями, а не внешней референцией. Это — автономный план, где значение возникает исключительно из внутренней взаимосвязи выражения и содержания, независимо от последующей культурной или метаязыковой медиации (Caruto 2015). Технически это можно представить также следующим образом. В пределах денотативной системы знак обозначает значение (величину) в самом прямом смысле — просто выступая за нее без дополнительного интерпретационного уровня или другого вторичного наслоения (Tanaka-Ishii, Ishii 2007, p. 401)¹.

«Насилие» и «травма» как рекурсивные семиотики

С точки зрения глоссематики концепты травмы и насилия не представляют собой какой-то «дефективный» знак вроде симулякра, маскирующий недостаток референта. Их можно представить как полноценные знаки, устроенные как семиотическая система второго порядка.

134

Как устроены с точки зрения глоссематики семиотики второго порядка? Это системы, где на плане выражения или содержания располагается другая денотативная семиотика. Если денотативная семиотика располагается на плане выражения, такая система называется коннотацией. Коннотативная семиотика у Ельмслева — это способ имманентного описания многоуровневого означивания: после первичного расчленения на планы выражения и содержания завершённый денотативный знак может быть вновь взят как план выражения, чтобы включиться в новую функцию-знак с добавочным содержанием. Коннотативные системы представляют собой подлинные семиотики со своими собственными планами и стратификациями, а не просто «вторичные значения» (Nöth 1990, p. 71–72).

Простейший пример коннотации можно обнаружить в технических знаковых системах (например, в программировании). Идентификатор в своей денотативной роли (адрес) выступает в качестве плана выражения в своей коннотативной роли (значение, находящееся по этому адресу). Тем самым весь денотативный знак функционирует как план выражения для нового, контекстуально зависящего содержания (Tanaka-Ishii, Ishii 2007, p. 400–401).

Если денотативная семиотика располагается на плане содержания, такая система называется метасемиотикой. Метасемиотика

¹ Подробный систематический обзор понятийного аппарата глоссематики см. в: (Nöth 1990, 64–73).

возникает там, где абстракция или научное описание берет в качестве объекта другую денотативную семиотику. Метасемиотика формализуется как системная абстракция и репрезентация объектной семиотики.

И коннотация, и метасемиотика, согласно глоссематике, являются рекурсивными: обе могут образовывать потенциально бесконечные иерархии значения или описания, хотя с важными нюансами, присущими каждой системе. В отношении коннотации Ельмслев указывает, что коннотативная семиотика — система, в которой план выражения сам является денотативной семиотикой, — может служить планом выражения для другой, более высокого порядка, коннотативной семиотики (Hjelmslev 1969, p. 120). Это подразумевает, что уровни или слои коннотации принципиально могут наращиваться рекурсивно: денотативная семиотика становится основой для коннотативной системы, которая, в свою очередь, может служить планом выражения для новых коннотативных наслоений. Подобные иерархии не только теоретически возможны, но и наблюдаются эмпирически — особенно в культурных и текстуальных феноменах, когда стиль, жанр или идеологический код наслаиваются друг на друга. Однако эта рекурсия, как правило, открыта: уровни могут добавляться, и поиск все новых уровней коннотации — это реальная аналитическая возможность. Но процесс обычно ограничивается практическими или эмпирическими пределами, когда анализ достигает насыщения или иных границ (Caputo 2015, p. 154–163).

135

Метасемиотика также рекурсивна: метасемиотическая система — это семиотика, в которой план содержания сам является семиотикой. Такая метасемиотика, в свою очередь, способна стать объектом описания для метасемиотики более высокого порядка, приводя к иерархии или регрессу метаязыков, метаметодов или метаописаний. Хотя сам Ельмслев апеллирует к финитистским принципам, требующим завершения анализа на определенном этапе (обычно на уровне эмпирической реализации), даже сама глоссематика, в сущности, способна к метаязыковому саморефлексивному и рекурсивному расслоению (Ibid., p. 161).

Таксономия Ельмслева допускает системы, в которых и план выражения, и план содержания семиотики более высокого порядка одновременно представлены денотативными семиотиками. В этом случае оба плана строятся из автономных, внутренне структурированных знаковых систем, и новая, второго порядка, функция-знак возникает из их взаимоотношения. Эта гибридная, или бипланарная, конфигурация упоминается самим Ельмсловом как признак семиотической комплексности (Ibid., p. 114–115). Примерами такой конфигурации служат сложные формы литературных или художественных кодов, а также формы метаязыкового дискурса, где

и язык-объект, и метаязык имеют разветвленные денотативные архитектуры. Такие комплексные бипланарные семиотики второго порядка отражают теоретический максимум иерархии означивания: любая семиотика может служить выражением, содержанием или одновременно обоими для новой функции-знака более высокого порядка. Эта структурная возможность определяет открытость и аналитическую глубину глоссематики, позволяя ей имманентно описывать стратифицированные гибридные знаковые системы, которые не сводятся к простому различению коннотации и метасемиотики (Ibid., 75–86).

Понятие «насилия» может быть рассмотрено глоссематически как бипланарная семиотика. Такой подход позволяет продемонстрировать, как «насилие» артикулируется одновременно как эмпирический или дискурсивный феномен (на плане выражения) и как концептуальный или аксиологический феномен (на плане содержания), причем каждый план обладает собственной системной логикой и значениями (величинами). На плане выражения «насилие» реализуется через различные системы денотативных семиотик: юридический дискурс (прецедентное право и законы, касающиеся актов насилия), медиарепрезентации (сообщения и изображения насильственных событий), художественные перформансы (театральные или киноизображения), или даже статистические репрезентации в социальных науках. Этот план включает не просто единичный референт или «означающее», а целые структурно артикулированные системы, каждая из которых порождает свои экземпляры проявления насилия. Например, «насилие» как выраженное в юридическом языке с его кодифицированными определениями, процедурами и речевыми актами составляет собственную, внутренне согласованную денотативную семиотику, так же, как и насилие, изображенное в кино, со своими нарративными, визуальными и жанровыми кодами.

На плане содержания насилие может быть рассмотрено как денотативная семиотика социальных, культурных или психологических значений (величин) — такие концепты, как «агрессия», «сила», «легитимность», «трансгрессия» и «справедливость», образуют структурное поле смысловых значений, связанных с эпизодами или репрезентациями насилия. В разных контекстах («война», «протест», «уголовное право», «семейные отношения») «насилие» организует поле возможных значений (величин), каждое из которых кодируется частной семиотической системой: символическое насилие идеологии в культурной теории, физическое насилие преступления в правовых исследованиях или метафорическое насилие языка в риторике. Каждая из этих концептуаль-

ных систем может быть полноценно описана как денотативная семиотика, где «насилие» — не просто единица, а относительная величина в сети различий и оппозиций (например, законность/незаконность, оправданность/неоправданность, видимость/невидимость и так далее).

Бипланарная конфигурация показывает, что ни репрезентация, ни концептуализация не содержат в себе «насилие» полностью; каждая система получает свою специфику только посредством структурированной корреляции, установленной бипланарной семиотикой. «Насилие» в этом смысле выступает как результат сложной функциональной взаимосвязи между денотативными системами, каждая из которых обладает собственной автономией и не сводится к другой. Здесь означивание никогда не исчерпывается одним уровнем, а борьба интерпретаций между модальностями сама становится конститутивным моментом объекта.

Тот факт, что «травма» связана с бипланарной семиотикой «насилия», делает ее анализ в рамках глоссематики существенно более проблематичным, поскольку эта слоистая взаимосвязь порождает множественные уровни сложности, неоднозначности и структурного напряжения. Как «травма», так и «насилие», будучи бипланарными семиотиками, уже включают корреляцию двух автономных денотативных систем. Для «травмы» это системы выражения (клинический дискурс, свидетельства «от первого лица», культурная репрезентация) и системы содержания (психологические, этические и культурные значения/качества); для «насилия» — выразительные координаты (например, юридический или журналистский дискурс, визуальные репрезентации) и аксиологические системы, определяющие, оправдывающие или проблематизирующие насилие. Каждая из этих систем — это уже сложный, иерархически организованный текст, не сводящийся к простому «факту» или элементарной системе означивания. Когда «травма» структурно связывается с семиотической системой «насилия», как часто бывает при дискурсивной со-конструкции травматического опыта на основе насильственных актов, возникает множество форм несоответствия и взаимной импликации. План выражения «травмы» (то, что говорится, изображается или исполняется о травме) оказывается глубоко зависимым от и внутренне включенным в план выражения «насилия»: медийные, юридические и художественные репрезентации насилия формируют и ограничивают сами пространства, где травма может быть нарративизирована или признана. В свою очередь, план содержания «травмы» (ее концептуализация, оценка, патологизация) черпает из, но также перераспределяет и рефреймирует план содержания «насилия» (значения, оправдания или критики насильственных актов).

Такая многоуровневая солидарность и напряженность между иерархически организованными семиотическими системами умножает пространства возможных неконформностей, неоднозначности и интерпретационной неустойчивости. Каждый план — выражения и содержания, для «травмы» и для «насилия» — имеет свою форму и субстанцию (понятия из второй артикуляции), и их взаимодействие редко приводит к простой однозначной корреспонденции. Например, конкретная репрезентация насилия может порождать совершенно разные концепции травмы: юридические, психиатрические, художественные; одновременно концепции травмы могут ретроспективно изменять семантические границы и выразительные возможности насилия — кого считать жертвой, какие события считать насилием, как структурируется коллективная память и так далее.

«Слабые» и «сильные» концепты

138

Таким образом, глоссематически рассмотрев некоторые из аспектов концептов «насилия» и «травмы», я хотел проиллюстрировать то, что называю «слабыми» концептами. Я предполагаю, что так можно назвать концепты, устроенные как рекурсивные семиотики, в которых ослабляются связи между различными их элементами и усиливается энтропия. Здесь я отталкиваюсь от понятия шенноновской энтропии. Это количественная мера неопределенности, отражающая среднюю непредсказуемость знака или сообщения при заданном распределении вероятности. В семиологии, заимствуя понятие энтропии, часто имеют в виду степень изменчивости, непредсказуемости или «информационного потенциала» в данной семиотической системе, учитывая как структурные ограничения, так и разнообразие возможных значений или форм, которые может генерировать система (Nöth 1990, p. 138, 200).

Применение этого к глоссематической рамке и, в частности, к бипланарной рекурсивной семиотике — сложным, стратифицированным знаковым системам, в которых плоскости выражения и содержания сами по себе состоят из целых денотативных («первого порядка») систем и рекурсивно встроены или коннотированы дальнейшей семиотикой — дает более нюансированные последствия по сравнению с более простыми семиотическими системами.

В семиотике первого порядка (денотативной) функция-знак напрямую связывает выражение с содержанием, сводя степень свободы к минимуму: возможны только те комбинации, которые санкционированы в рамках формальных и материальных ограничений

системы. Шенноновская энтропия здесь ограничена распределением вероятностей по этим допустимым связям. Хотя некоторые системы (например, естественный язык) могут иметь высокую энтропию, строго денотативная система на базовом уровне по-прежнему ограничена одним слоем возможностей отношений и неоднозначность, как правило, ниже.

Семиотики второго порядка (коннотативные или метасемиотические системы) включают в себя денотацию, создавая новый уровень рекурсии. Это увеличивает количество возможных конфигураций и, следовательно, потенциальная энтропия растет: не только появляются более сложные ассоциации, но и каждая единица из первой системы может быть переосмыслена, наложена или преобразована в соответствии с новым набором правил или парадигм. Такие системы более открыты и менее предсказуемы, поскольку одна фигура выражения может нести изменяющиеся, контекстно-зависимые фигуры содержания, и наоборот.

В бипланарной рекурсивной семиотике, где каждый план сам по себе является целостной семиотикой, способной к дальнейшей внутренней рекурсии, комбинаторные возможности и пути означивания снова умножаются, что потенциально может привести к еще более высокой энтропии. Здесь значение распределяется среди иерархий и рекурсивных функций, а границы между выражением и содержанием становятся все более неконформными. Такие структурное размножение и рекурсивное наложение, как правило, максимизируют семиотическую энтропию, по крайней мере в абстрактном смысле: потенциал информационного разнообразия и непредсказуемости в таких архитектурах максимален.

Однако, как утверждает Козимо Капуто, это увеличение энтропии сопровождается повышенной интерпретационной неопределенностью и большей потребностью в структурных ограничениях, поскольку неограниченная энтропия привела бы к чистому шуму, а не к осмысленному означиванию. Каждая семиотическая система более высокого порядка налагает свой собственный частичный порядок на доступные возможности, ограничивая энтропию на практике посредством культурных, дискурсивных или системных норм (Caputo 2015, p. 75–86, 154–163). Таким образом, ни один «слабый» концепт не реализует свою «слабость» полностью. Справедливо и обратное: в рамках естественного языка никакой концепт не может быть действительно нерекурсивным. Настоящий «сильный» концепт — это такое же операциональное допущение, модель, к которой нечто из естественного языка может приближаться или от него удаляться, но никогда не будет им по-настоящему.

Модель «сильного» концепта можно представить себе как семиотику, где снижается мера неопределенности за счет усиления связи концепт-феномен. Здесь феномен — это не трансцендентный для семиотики референт, а материал содержания, на который накладываются операциональные допущения первой (функция-знак и выражение/содержание) и второй (форма и субстанция) артикуляций. Например, в случае «травмы» это можно представить следующим образом. Речь идет не о наборе поведенческих симптомов, их проявлений или их внутреннем устройстве или этиологии. В случае семиотики «травма» материалом содержания является весь спектр человеческого переживания до всякой семиотизации (в том числе до того, как это напряжение, вызванное совокупностью раздражителей, достигнет психического аппарата), а членение аморфной массы этого спектра на отдельные фрагменты — формой содержания. Сам Ельмслев предлагает представить это как падающую на материал тень от сетки. Форма содержания — это не результат членения, а то, посредством чего происходит эта операция членения (не сама сетка, а тень от сетки). Можно наглядно вообразить это себе на примере того, как в ходе структуризации материала (так называемой манифестации) из светового спектра получается цвет (рис. 2).

140

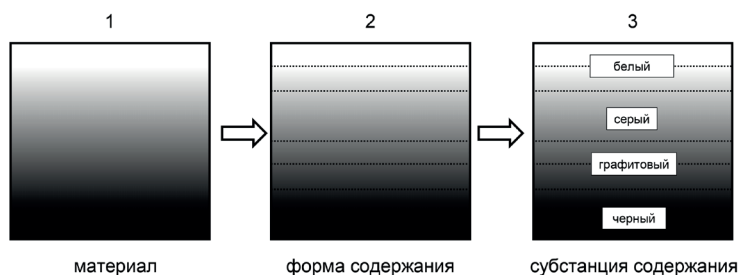


Рис. 2. Манифестация с точки зрения глоссематики

Fig. 2. Manifestation according to glossematics

Например, когда такое членение происходит темпоральным образом, из напряжения получается конкретный момент переживания или последовательность переживаний. Потом субстанцией содержания будет то, что далее структурирует материал, уже структурированный формой содержания, — имманентное материалу «наполнение» этого вычлененного фрагмента (характер и эффект раздражителя). В такой модели поддерживается сильная связь различных элементов семиотики между собой.

В действительности, когда мы переходим от работы с моделями в сферу актуального узуса — в естественном языке, в дискурсе, — не-

которая мера энтропии будет присутствовать вопреки даже самым скрупулезным попыткам избавиться от любых явлений рекурсивности в семиотике¹.

Тем не менее я полагаю прагматичным допущение, что мы можем вопреки этому стремиться к работе с концептами в направлении снижения меры их внутренней энтропии. Я считаю, что первый шаг, который можно сделать в этом направлении, — это минимизация наслоений рекурсивности в семиотике (коль скоро настоящая нерекурсивность не представляется возможной). В случае семиотики «травма» такой шаг может заключаться, например, в изъятии из нее аспектов другой рекурсивной семиотики — «насилия». Далее я предприму попытку продемонстрировать один из возможных способов, как можно это осуществить. Для этого я предлагаю вернуться к классической психопатологии «травматического» невроза и взглянуть в ее контексте на современные данные.

«Травматический» невроз: эффекты насилия или ослабление функций Я?

Связь между насилием и травмой не всегда прямолинейна и предсказуема. С самого раннего своего периода психоанализ уделял достаточно значительное внимание исследованию феномена агрессии. В этой дисциплине агрессия и деструктивность традиционно рассматривались как фундаментальный аспект человеческого поведения, а насилие — как их специфическая, контекстно опосредованная актуализация. Удивительно, что при этом формальная концептуализация насилия в психоанализе произошла достаточно поздно, уже в 1990-е годы, когда были предложены такие его определения, как форма межличностного человеческого поведения, в которой мыслящий субъект делает нечто деструктивное по направлению к другому человеку, или, например, как актуальное нападение на тело одного человека другим, включая вторжение в границы тела, с намерением причинить телесный вред другому человеку (подробнее см. обзор: Yankeley 2018). Сегодня мы можем наблюдать, что попытки определения насилия как строгого концепта в психоанализе не получили достаточного распространения и насилие в основном остается инструментальным концептом, применяющимся для обозначения той или иной контекстно-опосредованной актуализации агрессии и деструктивности.

141

¹ По меньшей мере не стоит игнорировать индивидуальные коннотации и работу механизмов апперцепции у индивида — обращение к прошлому опыту для восприятия.

В психоаналитических теориях насилие последовательно описывается как реактивный феномен или защитный маневр (Durieux 2023). Оно может быть реакцией на психические конфликты, борьбой за базовое психическое выживание (Vivier-Vacheret 2017)¹, ответом на непереработанный стыд или частью защит, проецирующих во вне деструктивные части индивида (Taubner et al. 2017; Gilligan 2017), ответом на чрезмерное возбуждение или коллективные нарциссические травмы, которые требуют уничтожения мнимых врагов (Yakeley, Meloy 2012; Moscovitz 2019; Cohen 2019). Реактивный характер концепта насилия на самом деле имеет две стороны: насилие — это не только «следствие», но и «причина». Речь идет о таком эффекте насилия для индивида, как «травма». Психоанализ признает, что насилие играет важную роль в психическом развитии, но при этом может иметь и травмирующие последствия для индивида — агента насилия. «Травма» возникает, когда реактивное насилие превосходит способность психики к его переработке (Duraгс 2022). Однако более пристальное внимание психоаналитическая мысль уделяет эффектам насилия не на его агентов, а на жертв насилия.

142

Представление о фундаментальности агрессии и деструктивности, вероятно, внесло значительный вклад в то, что в психоанализе распространился связанный с насилием концепт травмы, несмотря на то что привлечение концепта насилия внесло значительные противоречия с самим феноменом, на который должен указывать концепт. Первый заметный прорыв в изучении травматического невроза пришелся на период после Первой мировой войны. В 1918 году британский военный врач Фостер Кеннеди отметил: у солдат с физическими ранениями реже наблюдаются симптомы «психоневроза» (Kennedy 1918). Он спорил с популярной тогда гипотезой о контузионной этиологии симптомов и предлагал другое объяснение. По Кеннеди, травматический невроз возникает из психологических и эмоциональных кон-

1 Конфликт «или ты, или я» в диаде мать-дитя, эдипов конфликт, подростковая сепарация и др. Вот как объясняет идею Жана Бержере Клодин Вивье-Вашере: «...ребенок может только отвечать “нет” на все предложения взрослого и все его вопросы. В этом случае не следует воспринимать ответ ребенка как простой ответ на уровне реальности, а нужно понимать, что это совершенно другой ответ на совершенно другой вопрос, нечто вроде: <...> “Я больше не хочу, чтобы твои мысли и желания служили моим... отныне я думаю и желаю сам...” <...> Работа механизма фундаментального насилия во многом зависит от способности взрослого преобразовывать влечения ребенка, который становится самостоятельной личностью» (Vivier-Vacheret 2017, p. 125). Похожая динамика проявляется в подростковом возрасте. Чтобы достичь психической автономии, подросток должен символически «убить» родителей как основной источник своих идентификаций. См. обзор теории фундаментального насилия Жана Бержере в: (Vivier-Vacheret 2017).

фликтов — прежде всего из столкновения инстинкта самосохранения с социальными требованиями долга и морали, а не из физического воздействия на головной мозг. Так, судьба двух солдат, одинаково затронутых разрывом снаряда, может сложиться по-разному: невредимый впадает в ступор, демонстрирует амнезию или тревогу, тогда как раненый не проявляет признаков «нервной нестабильности». Осмотр 2000 раненых показал, что такие симптомы у них были редки. Кеннеди предполагал, что в этом случае внимание психики поглощено реальностью ранения, что препятствует бессознательному «погружению в страх». Это снижает внутренний конфликт, который при отсутствии телесного повреждения подпитывает невроз. Эта позиция созвучна психоаналитическим идеям того времени, где акцент смещается с органических причин на эмоциональное перенапряжение (см., напр.: Abraham et al. 1921). Современные исследования свидетельствуют о схожем феномене: раненые ветераны реже демонстрируют поведенческие симптомы так называемого посттравматического стресса и депрессии (Peterson 2021; Soumoff et al. 2021).

Открытие психологической этиологии травматического невроза позволило психоаналитикам первого поколения значительно продвинуться в его понимании в Первую и Вторую мировые войны. Результаты этих исследований суммировал в 1945 году Отто Фенихель в «Психоаналитической теории неврозов» (Fenichel 2014). Там он почти дословно воспроизводит вывод Кеннеди: травматический невроз чаще развивается там, где не было физического увечья. Однако говорить о том, что обратное совсем несправедливо, нельзя. Для того чтобы снять противоречие — насилие (посредством актов насилия) травматогенно и одновременно способно предохранять от психотравмы — Фенихель предлагает два объяснения. Почему физическая рана может предотвратить психологическую? Телесное вовлечение дает разрядку чрезмерному напряжению. Такая разрядка снижает общее напряжение и высвобождает ресурсы «Я» для связывания и переработки собственно травматогенных раздражителей. Фенихель подчеркивает важность возможности моторных реакций в момент травматического события: ожидание в окопе несет более высокие риски психотравматизации, чем активный бой. Почему же невозможно полностью исключить возможность травматизации? Согласно Фенихелю, поскольку связывать и производить разрядку напряжения, вызванного раздражителями, это задача «Я», травматизация указывает на его слабость. Травматический невроз — это неудача «Я». Об этом говорят и характерные симптомы блокировки или снижения различных функций «Я» у «травмированных» пациентов (различные нарушения речи, связывания социальной агрессии, тестирования реальности, хроностезии, темпорализации и другие). Здесь важно

различать настоящий травматический невроз и защитный невроз, за которым стоит «травматическое» событие как пусковой, но не определяющий фактор¹. Иногда мы можем наблюдать несоответствие между сравнительной незначительностью «травмы» и тяжестью невроза. Фенихель называет это невротической предрасположенностью. Чем сильнее предшествующие вытеснения и чем нестабильнее защиты, которые «Я» мобилизовало для поддержания равновесия психического аппарата, тем скорее некоторый интенсивный опыт приобретает травматический характер. Это можно назвать количественным обеднением «Я». У каждого индивида есть свой порог «выносливости». При невротической предрасположенности мы видим также качественную сенсibilизацию некоторых тем, где переживания особенно травматогенны (Fenichel 2014, p. 103).

Нарушение функции темпорализации в травматическом неврозе

144

Травматический невроз также характеризуется нарушениями темпорализации. Травма нарушает индивидуальное переживание времени, делая его фрагментированным и лишенным линейности. Это нарушение темпорализации проявляется в нарушении хроностезии (в потере ощущения времени), повторяющихся переживаниях травматического шока и навязчивых мыслях, диссоциации и когнитивных искажениях (Frewen, Lanius 2015). Они служат защитными механизмами самого невроза, предотвращающими получение новой информации, которая могла бы нарушить жесткие схемы переживания, сформированные травмой. Травма создает «отрицание времени» как сопротивление изменениям. В краткосрочной перспективе они могут быть эволюционно полезными для выживания², но в долгосрочной — приводят к дезадаптивным паттернам (Mezzalana 2021, p. 71–72).

1 По мнению Фенихеля, основное различие заключается в том, что истинный травматический невроз является прямым следствием сокрушительного внешнего события, которое нарушает нормальные защитные механизмы, в то время как защитный невроз, хотя и может быть вызван таким событием, в первую очередь обусловлен внутренними конфликтами и защитными механизмами индивида, а событие служит скорее контекстом или поводом, чем единственной причиной (Fenichel 2014, p. 104–115).

2 Меццалира пишет, что способность защищать определенные восприятия от процесса немедленной переработки гарантирует разнообразие психических реакций на неблагоприятные обстоятельства вместо повторения усвоенной реакции.

Итальянский психолог и философ Селена Меццалира, опираясь на фрейдовский концепт «последствия» (нем. *Nachträglichkeit*, или более известное русским читателям фр. *après-coup*), демонстрирует, что травма не является линейным событием, где причина предшествует следствию. Вместо этого исходное событие оставляет «асемантический» мнемонический след, не интегрированный в нарратив до тех пор, пока последующее событие не придаст ему смысл. Это приводит к «взрывному» эффекту, где прошлое ретроактивно наделяется значением, нарушая линейность времени. Меццалира анализирует случай Эммы из работ Фрейда, где первоначальный инцидент (сексуальное домогательство в детстве) становится травматичным не сразу, а только после второго события (смех продавцов в магазине), которое ретроактивно активизирует аффект. Это нарушение темпорализации проявляется в том, что травма существует в «нулевом времени» — она не историзирована, а повторяется вечно, как если бы прошлое и настоящее сливались. Индивид, страдающий травматическим неврозом, живет в «постоянном настоящем», где будущее недоступно, а прошлое не может быть переработано (*Ibid.*, p. 34–40). Травма приводит к «замораживанию» времени, где аффекты отделены от тела и репрезентаций (Campbell 2006).

145

Ключевое нарушение темпорализации при травматическом неврозе — это диссоциация. В этом контексте диссоциация — это разрыв в обычной интеграции сознания, памяти и самоидентичности, приводящий к фрагментации автобиографических воспоминаний и возникновению флешбэков, где травма «переживается заново», а не просто вспоминается. Это нарушение проявляется в «потере времени», когда индивид «выпадает» из реальности, фокусируясь на внутреннем мире, и субъективно ощущает замедление или остановку времени (Mezzalira 2021, p. 81–93). Травматическая темпоральность фрагментирована: прошлое вторгается в настоящее, создавая «расширенное время», где последовательность событий искажается (Van der Hart et al. 2004).

Я предполагаю, что все эти наблюдения на самом деле согласуются с классическими выводами Фенихеля, что при травматическом неврозе происходит блокирование или ослабление некоторых функций «Я». Вероятно, одной из таких ослабевающих функций является темпорализация. В психоаналитической теории темпорализация представляет собой ключевой процесс, посредством которого «Я» организует психическое пространство-время. Как подчеркивает американский психоаналитик Джейкоб Арлоу (Arlow 1986), этот процесс устанавливает связи между прошлым, настоящим и будущим, что обеспечивает человеку ощущение непрерывности и самоидентичности. Психоанализ фундаментально связан с кате-

горией времени, поскольку он стремится понять, как нарушения в настоящем определяются событиями прошлого. В этой модели «Я» выступает как инструмент, который интерпретирует последовательность событий на фоне постоянства самоощущения, где любые изменения регистрируются и ложатся в основу темпорального опыта. Эта функция «Я» позволяет интегрировать фрагментированные переживания, включая травматические, в связную (когерентную) структуру, где прошлое активно влияет на настоящее и формирует ожидания от будущего. Некоторые нарушения темпорализации, такие как дежавю или ощущение безвременья, возникают как защиты «Я» или компромиссные образования в ответ на внутренние конфликты¹. Они трансформируют восприятие времени под влиянием бессознательной фантазии. Арлоу подчеркивает, что время не ощущается непосредственно, а является опосредованной интеллектуальной конструкцией. В этом контексте темпорализация как функция «Я» служит защитой от хаоса, связывая аффекты с репрезентациями и предотвращая их патологическую — неопосредованную — разрядку (Ibid.).

146

Хотя некоторые предпосылки к темпорализации присущи индивиду еще с рождения (и, вероятно, начинают формироваться еще на пренатальном этапе жизни), такая способность появляется в ходе нервно-психического развития (Ibid.). Важнейшие «организаторы» времени — это прежде всего ритмический характер влечений (Freud 2013) и ритмы удовлетворения и фрустрации во взаимодействии матери и младенца (Arlow 1986). Хроностезия развивается в результате формирования требования в первичном цикле потребности, нарастания напряжения и удовлетворения. Длительность изначально переживается как неприятное ожидание, а связность — как повторяемая последовательность нарастания и снижения напряжения (Arlow 1986, p. 522–524). Все это создает пространство времени ожидания, в котором формируется вторичный процесс (индивид переходит от немедленной и непосредственной разрядки к отложенной и опосредованной). Формирование дифференциации «Я»-объект происходит также в этом времени ожидания (или, как его еще называют, «времени другого»).

Эдипов конфликт выступает как матрица межпоколенческой темпоральности, позволяющая вписать индивида в порядок наследования, утраты и смертности (Chantepie 2023). Реактуализации

1 Фрейдовский тезис о «вневременности» бессознательного является важной, но достаточно спорной референцией. Ряд авторов указывает на «защитный» характер вневременности. Она может выражать нарциссическое желание преодолеть смертность, тогда как субъект неизбежно переживает ритмы времени, его ускорения, обрывы и остановки (Hanly 2009).

эдипова конфликта, например, в подростковом возрасте (Ibid.) или во время вынашивания ребенка, также, вероятно, играет значительную роль.

Время становится элементом конфликта и симптомообразования. Нарушения темпоральной организации лежат в ядре ряда психопатологий. Для меланхолии характерно «выпадение из времени», «подвешенное» или «мертвое» время, отказ от новизны и изменений (Chouraqui-Sepel 2022; Green, Richard 2004). В психозе время переживается как «замороженное», в мании — как патологически «ускоренное» (Baguch 2024). Навязчивости выступают как «убийство времени» — защитный процесс зацикленного воспроизведения травмы вне историзации (Green 2009). Время может становиться инструментом компромиссного разрешения эдипальных и нарциссических конфликтов. Разные аффективные состояния поляризуются по временным осям (депрессия — к прошлому и утрате, тревога — к ожидаемой катастрофе), а феномены вроде «вневременности» или дежавю функционируют как защита от переполняющей тревоги, вины или беспомощности (Arlow 1986).

Усиление «слабого» концепта

147

Я предполагаю, что эта пространная иллюстрация достаточно явно демонстрирует, что ключевым элементом в такого рода состоянии, которое сегодня часто называют «травмой», является не эффект некоторой формы насилия, как предполагается метафорическим аспектом концепта, а ослабление функций «Я» — прежде всего темпорализации. Именно слабостью «Я» определяется, произойдет ли в ответ на некоторый интенсивный опыт «травматизация» или нет. В пользу связки «травмы» и функций «Я» говорят и новейшие данные. Долгое время в психоанализе считалось почти самоочевидным, что соматические последствия насилия (физические раны и увечья) могут снижать риск развития травматического невроза. Из фокуса внимания мейнстримной психологии же эта тема постепенно исчезла. Поэтому недавние данные о том, что раненые комбатанты реже демонстрируют поведенческие симптомы посттравматического стресса и депрессии, были восприняты профессиональным сообществом с некоторым удивлением. Американский психиатр Алан Петерсон выдвинул гипотезу: видимые телесные ранения помогают восстанавливаться от «невидимых ран». Комментируя данные, которые получил исследовательский коллектив под руководством психиатра Алисы Сумофф (Soumoff et al. 2021), он предлагает такое объяснение: видимость травмы побуждает окружающих спрашивать о случившемся. Повторные рассказы о травматическом событии способствуют осмыслению, переработке и привыканию

к аффекту. Психиатр сравнивает это с длительной экспозицией — распространенной интервенцией в когнитивно-поведенческой психотерапии (Peterson 2022). В ответе Сумофф и соавторы соглашались с Петерсоном, но уточняют важную деталь: все участники их исследования находились в стационаре по поводу физических травм и их почти ежедневно навещал специалист по поведенческой медицине. По их мнению, именно эта структурированная среда, а не одна лишь «видимость» раны, объясняет профилактику и редукцию симптомов травматического стресса. Госпитализация создала терапевтическую среду, обычно недоступную тем, чьи «невидимые раны» не требуют стационара (Soumoff et al. 2022). «Профилактика» травматического невроза происходит именно посредством работы различных функций «Я» — речи, нарративизации (темпорализации), социального взаимодействия и так далее.

При этом данное состояние может быть четко дифференцировано от защитного невроза, чьи манифестные симптомы проявляются после какого-то события. Здесь можно возразить, что всякий невроз на самом деле реактивен. Он представляет собой реакцию на внутренний конфликт в виде компромиссной попытки его разрешить. Я думаю, эту проблему можно снять, если взглянуть на нее с другой стороны. Попытка компромиссного решения конфликта (формирование невротического симптома или, в благоприятном случае, характерологической особенности) — это попытка психического аппарата вернуться в состояние относительного равновесия. Это является частью адаптационной задачи, присущей любому живому организму. В «травматическом» неврозе мы наблюдаем действие аналогичного механизма реадaptации. Его проявления Фенихель называл «попытками к самоизлечению»¹. В этом отношении все неврозы похожи — они являются частью адаптационной задачи организма. То, что различается в защитном и «травматическом» неврозе, — это то, что выводит психический аппарат из равновесия и запускает реадaptационные механизмы. В случае защитного невроза это напряжение, которое провоцируется в психике конфликтом между собственными импульсами индивида (влечения «Оно»), его идеалами и усвоенны-

1 Фенихель описывает, как в травматическом неврозе «Я» предпринимает попытки к спонтанному излечению. Он выделяет здесь два направления. Первое — это дистанцирование и отдых; сбор энергии для запоздалого связывания возбуждения. Это проявляется в снижении функций «Я» и регрессии индивида. Второе — это запоздалые разрядки — моторные феномены, эмоциональные вспышки, явления повторения. Например, навязчивые мысли и размышления — это попытка связать вторгшееся возбуждение; активное повторение пассивно пережитого — попытка запоздалой разрядки (Fenichel 2014, p. 112).

ми запретами (давление «Сверх-Я») и требованиями среды. В случае же «травматизации» «Я», ввиду своей ослабленности, не может справиться с напряжением, вызванным раздражителями среды, в результате чего происходит еще больший упадок функций «Я».

Если снова вернуться к устройству «травмы» как семиотики, здесь я предлагаю такую субстанцию содержания, которая прочнее связана с ее аспектом формы содержания, артикулированной темпоральным образом (как момент в последовательности переживаний, которые производит психический аппарат индивида), которая, в свою очередь, прочно связана с материалом (напряжение, вызванное совокупностью раздражителей еще до того, как оно достигнет психического аппарата). Если мы изымаем из интересующей нас семиотики аспекты другой рекурсивной семиотики — насилия — и «усиливаем» связи между ее элементами (или, более строго, делаем допущение о возможности создания сильных, «однозначных» связей) — в моем случае в рамках плана содержания, — то получаем более «сильный» и строгий описательный концепт. Пример концепта «травмы» демонстрирует, что это возможно сделать, не привлекая для этого метафизического понятия референта ни позитивным, ни негативным (как в бодрийеровской семиологии) образом. Кроме того, произведенная работа иллюстрирует креативный аспект прагматического подхода к глоссематике¹.

149

Заключение

В статье я предпринял попытку проиллюстрировать, как устойчивое сцепление «травмы» с «насилием» — скорее продукт метафорического происхождения понятия, нежели отражение специфики самого феномена, — «ослабляет» концепт «травмы». «Насилие» само является рекурсивной семиотикой. Когда оно включается в рекурсивную семиотику «травмы», то вызывает еще большее нарастание энтропии. Предложенное «усиление» концепта заключается в его расцеплении с насилием. Насилие может быть одним из возможных раздражителей, но не является необходимым и достаточным условием феномена. Я не обесцениваю социально-правовых функций существующего дискурса и не отрицаю патогенный характер насилия. Расцепление, которое я предлагаю здесь, — аналитическое. Оно призвано усилить связь «концепт — феномен» и повысить прагматическую полезность понятия.

1 Вероятно, следовало бы вовсе отказаться от остатков медицинской метафоры травматизма и произвести трансформацию концепта также и на плане выражения. Тем не менее это проблема для отдельного размышления.

Возврат к классической психопатологии «травматического невроза» и современные данные позволяют уточнить: ядро состояния, именуемого сегодня «травмой», составляет не эффект некоторой формы насилия, а ослабление «Я» и его функций. Это ослабление я рассматриваю как субстанцию содержания, прочно связанную с формой содержания «травмы», артикулированной темпорально, — как момент в последовательности переживаний, производимой психическим аппаратом — и далее с материалом, то есть напряжением от совокупности раздражителей до их психической переработки. Изъятие аспектов «насилия» и «усиление» связей между элементами — в данном случае в пределах плана содержания — позволяет получить более «сильный», операционально строгий описательный концепт. Кроме того, такая переориентация концепта устраняет ряд эмпирических парадоксов (например, меньшую частоту поведенческих симптомов у раненых по сравнению с невредимыми при одинаковом воздействии) и последовательно объясняет феноменологию диссоциации, ретроактивности, нарушений хроностезии и навязчивого повторения у затронутых индивидов.

150

Пример «травмы» демонстрирует креативный потенциал прагматического подхода к глоссематике. Я предполагаю, что снижение энтропии в семиотике делает концепт более инструментализируемым для практических задач. Задача укрепления понятийного аппарата — не академическая роскошь, а предварительное условие праксиса¹. В случае концепта «травмы» сегодня это особенно актуально. Согласно оценкам, на конец 2024 года в мире ведется около 56 активных вооруженных конфликтов, а 92 страны участвуют в войнах за пределами своих границ — это наибольшие показатели со времен окончания Второй мировой войны (Global Peace Index 2024). Поведенческие явления, связанные с «военным» стрессом, все больше вторгаются в обыденную жизнь. Речь идет не только об определенных психопатологических феноменах, наблюдаемых у бывших комбатантов, но также и об их влиянии на некомбатантов (например, более подробно об аспекте травмы в демобилизации комбатантов как социально значимом вызове см.: Мартынов 2024). Я считаю, что именно здесь мы можем локализовать те самые праг-

1 Например, альтернативный травме концепт, сфокусированный на функциях «Я» и их ослаблении, позволяет сформулировать критерии доступа к лечению и реабилитации без обязательной апелляции к юридически доказываемому «насилию». Таким образом, в поле зрения медико-профилактической и социальной службы попадает большая группа граждан, нуждающаяся в специальном внимании. Это открывает возможность ранних профилактических мероприятий, направленных на укрепление «Я» и его функций.

матические последствия концепта, которые Чарльз Пирс предлагал в качестве мерила валидности того или иного концепта¹.

Финансирование / Funding

Публикуется при поддержке гранта РНФ №25-18-00901.

This work was funded by Russian Science Foundation, grant №25-18-00901.

Список источников / References

Бочков, Д. А. (2025) Как катастрофа становится коллективной травмой: насилие и социальный порядок в дюркгеймианской перспективе. *Социология власти*, 37(3).

— Bochkov D. A. (2025) How Disaster Becomes Collective Trauma: Violence and Social Order from a Durkheimian Perspective. *Sociology of Power*, 37(3). (in Russ.)

ВОЗ (2002) *Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире*. ВОЗ.

— WHO (2002) *Violence and its impact on health. World situation report*. WHO. (in Russ.)

Мартынов И. А. (2024) Социально значимые заболевания и медико-социальные проблемы как вызов послевоенного времени: состояния, контексты, импликации, мировой опыт. *Медицинская антропология и биоэтика*, (2), с. 28.

— Martynov I. A. (2024) Socially significant diseases and medical-social problems as a challenge of post-war time: conditions, contexts, implications, world experience. *Medical Anthropology and Bioethics*, (2), p. 28. (in Russ.)

Травма (2025) *Большой энциклопедический словарь*. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295846> (дата обращения: 25.09.2025).

— Trauma (2025) *Large Encyclopedic Dictionary*. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/295846> (accessed: 25.09.2025).

Abraham K., Ferenczi S., Jones E. & Simmel E. (1921) *Psychoanalysis and the war neurosis*. International Psychoanalytical Press.

Arlow J. A. (1986) Psychoanalysis and time. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 34(3), pp. 507-528. <https://doi.org/10.1177/000306518603400301>

Baruch C. (2024) Le temps du Préconscient. *Revue française de psychanalyse*, 88(1), pp. 207-218.

Campbell J. (2006) *Psychoanalysis and the time of life: Durations of the unconscious self*. Routledge.

- 1 Главный критерий, сформулированный Чарльзом Пирсом (Peirce 1878) в его «прагматической максиме», — это практические последствия. Значение концепта полностью исчерпывается совокупностью его мыслимых практических следствий для нашего опыта и действий. Чтобы прояснить для себя концепт, нужно рассмотреть, какие действия он нам предписывает и какие перцепции мы можем ожидать в результате его применения. Например, если различие между двумя концептами не влечет за собой никакой разницы в практических последствиях, то это различие бессмысленно.

- Caputo C. (2015) *Tra Saussure e Hjelmslev. Ricerche di semiotica glossematica*. Carocci editore.
- Chantepie P.-J. (2023) Le complexe d'œdipe: Un organisateur temporel toujours actuel. *Analysis*, 7(2), pp. 100–361. <https://doi.org/10.1016/j.analy.2023.100361>
- Chouraqui-Sepel C. (2022) Temps suspendu. *Revue des Collèges de Clinique Psychanalytique du Champ Lacanien*, 21, pp. 111–119.
- Cohen S.J. (2019) The unconscious in terror: An overview of psychoanalytic contributions to the psychology of terrorism and violent radicalization. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 16(4), pp. 216–228. <https://doi.org/10.1002/aps.1658>
- Duparc F. (2022) Chapitre 5. La violence et le temps (pp. 73–91). In Abdessadok B., Assoun P.-L., Bercherie P., Bonnet G., Duparc F., Larguèche É. (Eds.) *D'où vient la violence?* In Press.
- Durieux M.-J. (2023) Violence, haine, destructivité. Que dit la psychanalyse? *Le Carnet PSY*, 260(3), pp. 17–21.
- Efstratiou S. (2010) Introduction of the term “trauma” in psychiatry. *Annals of General Psychiatry*, 9(Suppl. 1), S235. <https://doi.org/10.1186/1744-859X-9-S1-S235>
- Fenichel O. (2014). Traumatic neurosis (pp. 103–113). In *The psychoanalytic theory of neurosis*. Routledge.
- Freud S. (2013) *Pulsions et destins des pulsions*. Payot.
- Frewen P. & Lanius R. (2015) *Healing the traumatized self: Consciousness, neuroscience, treatment*. W. W. Norton.
- Genosko G. (1994) Simulation and semiosis (pp. 29–38). In *Baudrillard and signs: Signification ablaze*. Routledge.
- Genosko G. (2002) Mixed semiotics (pp. 155–193). In *Félix Guattari: An aberrant introduction*. Bloomsbury.
- Gilligan J. (2017) Toward a psychoanalytic theory of violence, fundamentalism and terrorism. *International Forum of Psychoanalysis*, 26(3), pp. 174–185. <https://doi.org/10.1080/0803706X.2017.1308428>
- Global Peace Index (2024) *Highest number of countries engaged in conflict since World War II. Vision of Humanity*. URL: <https://www.visionofhumanity.org/highest-number-of-countries-engaged-in-conflict-since-world-war-ii/> (accessed: 30.12.2024).
- Green A. (2009) From the ignorance of time to the murder of time. From the murder of time to the misrecognition of temporality in psychoanalysis (pp. 1–20). In *The experience of time: Psychoanalytic perspectives*. Karnac.
- Green A. & Richard F. (2004) Psychanalyse et temporalité. *Adolescence*, 22(4), pp. 719–733.
- Hamby S. (2017) On defining violence, and why it matters. *Psychology of Violence*, 7(2), pp. 167–180. <https://doi.org/10.1037/vio0000117>
- Hanly C. (2009) A problem with Freud's idea of the timelessness of the unconscious (pp. 21–34). In *The experience of time*. Routledge.
- Hassanally K. (2018) Diagnosing violence. *The British Journal of General Practice*, 68(672), p. 329. <https://doi.org/10.3399/bjgp18X698105>.
- Hjelmslev L. (1969) *Prolegomena to a Theory of Language*. University of Wisconsin Press.
- Kenned, F. (1918) Nervousness in soldiers. *War Medicine*, 2(1), p. 26.

- Koot S., Anyango-van Zwieten N., Sullivan S. et al. (2025) Intimidation as epistemological violence against social science conservation research. *Conservation Biology*, 39(2), pp. e14454. <https://doi.org/10.1111/cobi.14454>
- Mezzalana S. (2021) *Trauma and its impacts on temporal experience: New perspectives from phenomenology and psychoanalysis*. Routledge.
- Moscovitz J.-J. (2018) Bodies and the object-death (pp. 15–20). In *On psychoanalysis and violence*. Routledge.
- Nöth W. (1990) *Handbook of Semiotics*. Indiana University Press.
- Peirce C. S. (1878) How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly*, 12, pp. 286–302.
- Peterson A. L. (2022) Natural recovery from posttraumatic stress in injured military service members: A commentary on Soumoff et al. (2021). *Journal of Traumatic Stress*, 35(1), pp. 338–340. <https://doi.org/10.1002/jts.22733>
- Smit H. J. & Strong P. (2020) Structural elements of the biomechanical system of soft tissue. *Cureus*, 12(4). <https://doi.org/10.7759/cureus.7895>
- Soumoff A. A., Driscoll M. Y., Kim S. et al. (2022). Hospitalization for physical injury may contribute to recovery of invisible war wounds: Response to Peterson's (2021) commentary on Soumoff et al. (2021). *Journal of Traumatic Stress*, 35(1), pp. 341–342. <https://doi.org/10.1002/jts.22727>
- Syed A. & Jacob M. S. (2024) Linguaging psychopathology: Neurobiology and metaphor. *Frontiers in Psychiatry*, 15, pp. 1320771. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1320771>
- Tanaka-Ishii K. & Ishii Y. (2007) Icon, index, symbol and denotation, connotation, metatag. *Semiotica*, 166, pp. 393–407. <https://doi.org/10.1515/SEM.2007.063>
- Taubner S., Rabung S., Bateman A. & Fonagy P. (2017) Psychoanalytic concepts of violence and aggression (pp. 1–14). In *The Wiley Handbook of Violence and Aggression*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119057574.whbva027>
- Traumatisme (2025) *Dictionnaire de français Larousse*. URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traumatisme/79279> (accessed: 25.08.2025).
- Van der Hart O., Nijenhuis E., Steele K. & Brown D. (2004) Trauma-related dissociation: Conceptual clarity lost and found. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 38(11–12), pp. 906–914. <https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2004.01480.x>
- Vivier-Vacheret C. (2017) L'apport de la théorie de la violence fondamentale et du groupal dans une cure individuelle. *Connexions*, 107(1), pp. 123–130. <https://doi.org/10.3917/cnx.107.0123>
- Woodward J. (2023) Sketch of some themes for a pragmatist philosophy of science (pp. 197–219). In Andersen H. K., Mitchell S. D. (Eds.), *The pragmatist challenge: Pragmatist metaphysics for philosophy of science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192845440.003.0012>
- Yakeley J. (2018) Psychodynamic approaches to violence. *BJPsych Advances*, 24, pp. 83–92. <https://doi.org/10.1192/bja.2017.23>
- Yakeley J. & Meloy J. R. (2012) Understanding violence: Does psychoanalytic thinking matter? *Aggression and Violent Behavior*, 17(3), pp. 229–239. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.02.005>

Об авторе / About the author

Мартынов Иннокентий Алексеевич — сотрудник ЦМА ИЭА РАН (Москва). Научные интересы: психоанализ, неврозы, теория бессознательной мотивации, психифтизиатрия и тропические болезни.

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669>. E-mail: i.martynov@iea.ras.ru

Innokentiy A. Martynov — researcher in Center for Medical Anthropology of IEA RAS (Moscow, Russia); Research interests: psychoanalysis, neurosis, theories of unconscious motivation, psychiatric issues in tropical diseases.

<https://orcid.org/0000-0002-3425-3669>. E-mail: i.martynov@iea.ras.ru